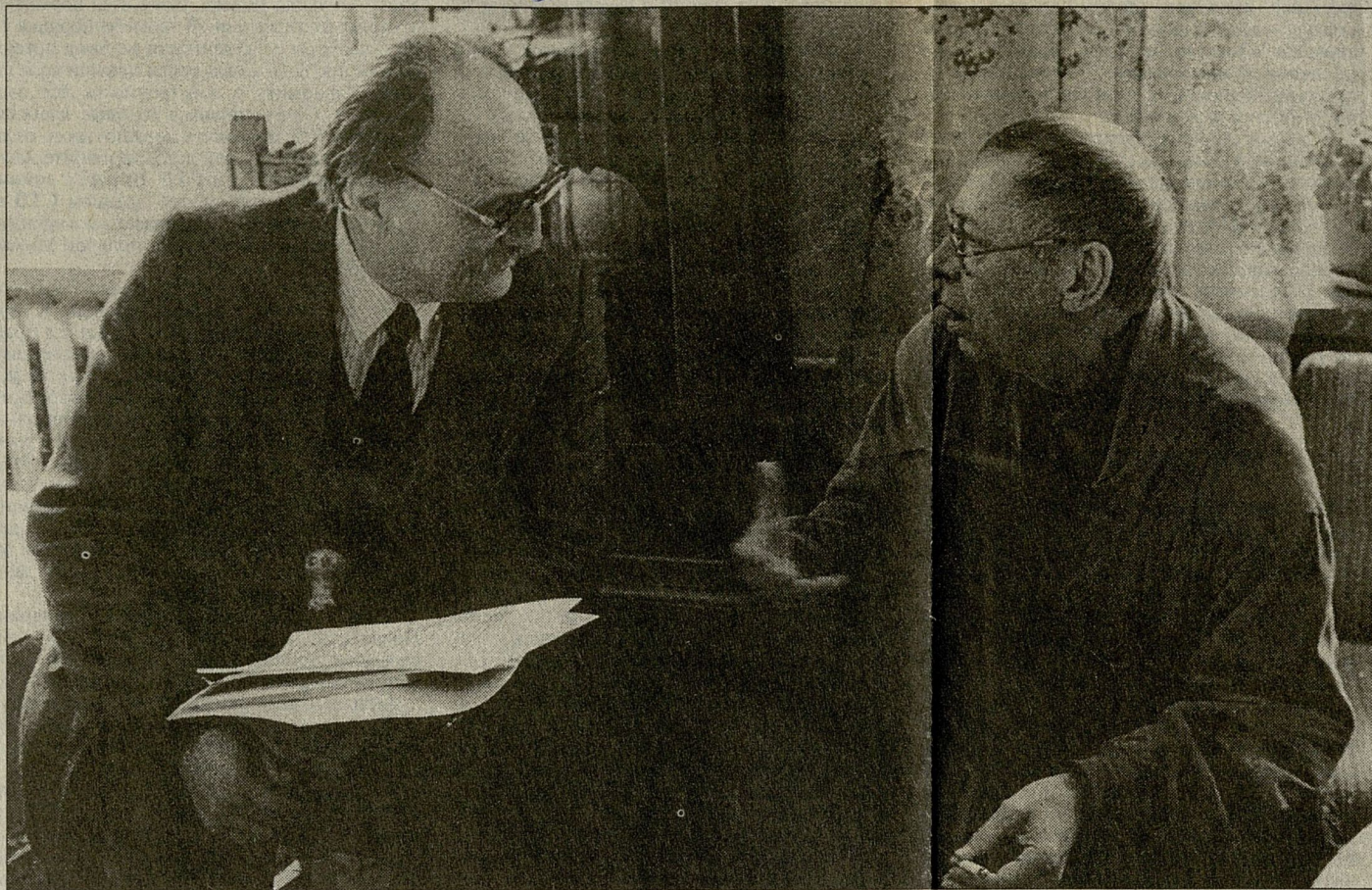


ЛАКШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2001 ГОДА

Независимая газ. — 2001. — 23 марта. — с. 9, 12



Владимир Лакшин и Олег Ефремов.
Фото А. Козина

В Центральном доме работников искусства (ЦДРИ) прошли традиционные Пятые Лакшинские чтения.

На вечере выступили актер, режиссер, драматург Сергей Десницкий, писатель Владимир Войнович, критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова, театральный режиссер Марк Розовский, критик и литературовед Игорь Золотуский, экономист и публицист Геннадий Лисичкин. Вел вечер член-корреспондент Российской академии образования Александр Абрамов.

В Чтениях также принимали участие актер Михаил Глузский — он читал лирические стихи Александра Твардовского — и пианистка, профессор Московской консерватории Наталья Деева. Собравшихся приветствовала Ольга Лепешинская, председатель Правления ЦДРИ.

Игорь Золотуский

ЧЕЛОВЕК ГЛУБИНЫ

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Владимиром Лакшиным в 1962 году в «Литературной газете». Он заведовал там отделом критики. Не успели мы пожать друг другу руки, как Лакшин сказал мне, что переходит на работу в «Новый мир» и хотел бы видеть на страницах журнала мое имя. Через несколько месяцев я, живший тогда в Хабаровске, послал ему статью. Она называлась «Физики. XX век» и была посвящена модной тогда теме — «физики и лирики». Отталкиваясь от нее, я выходил к романам и повестям о людях науки.

Ответ из Москвы пришел быстро. Лакшин писал, что я подражаю Виктору Шкловскому, что в статье нет оригинальных идей, и потому он возвращает ее мне. Я тогда читал Хемингуэя и совсем не знал Шкловского, но горькую эту пилюлю пришлось проглотить.

Впервые — и последний раз при Твардовском — я напечатался в «Новом мире» в 1968 году. Моя статья о фильме Бондарчука «Война и мир» и статья Лакшина о романе Булгакова «Мастер» и Маргарита появились в одном номере. Это был №6, вышедший, однако, в те дни, когда наши танки стояли в Праге.

Будучи оба критиками, мы шли разными дорогами. Я был партизан, привыкший совершать набеги из леса, он служил в регулярных войсках, а оттого подчинялся воинскому уставу и дисциплине. Я отвечал за себя, он — за журнал и за его направление. Я появлялся из леса и удалялся опять в лес. Лакшин должен был вести боевые действия в открытом поле. В случае беды его, правда, могло защитить стоявшее за ним войско, мне на какую-либо защиту рассчитывать было нечего.

Конечно, партизанство освобождает, служба стесняет. Служишь не только собственным пристрастиям, но и «интересам дела». Чтоб не подставить общее дело, идешь

на *игру* с противником. Что означает эта игра? Применение маневра, отвлекающих ходов, обманных движений. Можно даже цитировать Ленина, но так, чтобы цензор *читал* в цитате одно, а умный единомышленник — другое.

Каждое слово Лакшина было взвешено, каждая мысль являлась одетая в броневой жилет. И тут он шел по стопам критиков не красовского «Современника», в совершенстве владевших искусством дипломатии.

Мне их взвешенность была чужда. Еще в юности я скучал над статьями Чернышевского и Добролюбова. Я предпочитал им Писа-

рева, пленявшего меня блеском исполнения.

Я помню, как роптал на Лакшина, считая, что с теми, с кем он играл, играть бесполезно. Так думал не только я. Были у него оппоненты и в самой редакции. Но если б не эта тактика, «Новый мир», я думаю, был бы убит гораздо раньше.

11 февраля 1970 года я пришел в редакцию на Малом Путинковском. Мне предстояло забрать повесть, одобренную отделом прозы. В те дни многие забирали свои рукописи. Не хотели оставлять их преемникам Твардовского. У меня был тяжелый разговор с Ефимом Дорошем. Этот закрытый и строгий (как

мне казалось) человек плакал. Он говорил, что его жизнь кончена.

Плакал не только он. По коридорам редакции летали бумаги, двери кабинетов были распахнуты. В них входили и выходили люди. В парадном я столкнулся с Твардовским — он, покидая журнал, уносил с собой какие-то папки. В коридоре первого этажа толпа сотрудников сошлась вокруг Солженицына. Он был возбужден и даже весел; что касается слушавших его, то на их глазах были слезы. Помню слезы и на глазах Лакшина.

Я вдруг понял, что «Новый мир» для него не форпост прогресса, а *семья*. Теряя ее, он

терял почти все: дело, товарищей, право печататься и влиять. Его старшие коллеги так и не смогли пережить, этого несчастья — одного за другим их скосил беспощадный рак. От него умерли Твардовский, Дорош, Марьямов, Кондратович...

Имя Лакшина на несколько лет исчезло из печати.

Его отлучили от критики — он ушел в XIX век. Через шесть лет после падения «Нового мира» он выпустил книгу об А.Н. Островском. Она стоит у меня на полке с надписью автора: «Игорю Золотусскому с крепким дружеским рукопожатием в ожидании книги о Гоголе. 20 ноября 1978 г.».

Да, тогда *уходили* многие. Кто — в политику и борьбу, а затем в диссиденты, кто — в архивы и библиотеки, чтоб обрести то, что не было дано в школе и университете, кто — в церковь, кто — в природу, лишь бы подальше ото лжи.

В 1979-м я смог подарить Лакшину мою книгу о Гоголе.

...Я убежден, что критиком нужно родиться. Без образования, культуры чтения и общей культуры критиком не станешь, но талант рождается не на университетской скамье. Сравнивая поколение критиков, к которому принадлежал Лакшин, с нынешними представителями этого жанра, вижу отличие. В первом случае опыт книжного знания и опыт жизни уравновешивают друг друга, во втором — книжный опыт явно берет верх.

Критик нового времени, говоря словами известной песни, «большой ученый», критик времен расцвета «Нового мира» — большой человек. Вот почему Лакшин при жизни — и тем более сейчас — сделался, как принято нынче выражаться, знаковой фигурой, а если проще, *легендой*.

По себе знаю, как нелегко было с этой легендой не соглашаться, оспаривать ее мнения. Споря с легендой, ты подвергал сомнению не точку зрения отдельного лица, а саму истину. Помню, как по аллеям Дома творчества в Ялте за Лакшиным всегда следовала толпа литераторов, ловя каждое его слово. В этой «свите» я не раз видел К. Паустовского, В. Каверина, В. Шкловского.

Лакшину в ту пору било тридцать пять, но тем, кто уже заканчивал свой путь, такой перепад в возрасте не казался помехой: они хотели знать, что думает о литературе этот молодой человек.

Позже я часто встречал Лакшина в окружении разных людей, почтительно смолкавших, как только он начинал говорить. Слава «Нового мира» венчала лавровым венком не

его одного, но среди других (исключая Твардовского) он был первым.

Сегодня примеров такого влияния литератора на публику не сыщешь. Сегодня в паспорте критика нет графы «личность». Владимир Лакшин был личностью. Что такое личность? Это совокупность ума, таланта, характера и желания жить по правде. Для Лакшина писание статей было действие и поступок.

Он пришел в критику, имея опыт работы с текстами Толстого и Чехова. Это придавало его писаниям масштаб. Большой критик немислим без большой литературы, и Лакшин был им еще до прихода в «Новый мир». Журнал дал ему возможность развернуться.

Но служение направлению и литературной партии таит опасность. Законы партии жесткие: любой шаг в сторону, и ты рискуешь оказаться вне ее рядов. Так же неумолима и партия читательская: она извляла твой образ и хочет, чтоб ты соответствовал только ему. Одним словом, или бронзовей (а по партийному «не изменяй»), или не меняйся.

Лакшину предстояло преодолеть этот закон, преодолеть себя. Его слово, воскресшее в восьмидесятые на телевидении, а потом перенесшееся на страницы газет (он сменил журнальную публицистику на газетную) встало в оппозицию к риторике новой эпохи.

Суэта Перестройки ему претила. Он не сделался оратором, депутатом. Он остался *человеком глубины*, всегда предпочитавшим ее любому выигрышному волнению наверху. Читая его статьи, я чувствовал, что мы идем навстречу друг другу. Книга «Берега культуры», вышедшая в 1994 году, уже после смерти Лакшина, подтвердила это.

Повторяю, мы не были близки, но, тем не менее, шли рядом. Все мы, жившие в *одно* время и занимавшиеся одним делом, были, по существу, *одним целым*, и если кто-то пострадал, пострадал нас развести, то не сможет этого сделать.

В начале девяностых Лакшин резко взял в сторону от образа советского Добролюбова. Он не принял «демократической» демагогии и «демократического» террора, ни той прелести, в которую впадал после победы Ельцина «демократическая» интеллигенция — прелесть обольщения собой. Его статья «Россия и русские на своих похоронах», опубликованная в «Независимой газете» в 1993 году, была прорывом на глубину истории.

И этого ему не простили. Превозносившие его некогда «передовые люди» стали шептаться, что Лакшин пошел не туда, погряз в прежние ценности и т.п. Что, наконец, из коренного западника превратился в славянофила.

(Окончание на стр. 12)

ЛАКШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

2001 ГОДА

(Окончание. Начало на стр. 9)
Шепот уже начинал переходить в вой. И в эту минуту сердце Лакшина остановилось. Слабый ум всегда цепляется за познание, привычное и незбыемое. Сильный превозмогает инерцию. Он не страшился быть «неправым» сегодня, ибо знает, что, скорее всего, будет прав завтра.

Владимир Войнович

ОНИ ПЕЛИ, И ЭТО БЫЛО КРАСИВО!

Наступило время, когда все чаще приходится выступать на поминках и вечерах памяти.

Из здесь присутствующих я знал Владимира Лакшина, может быть, дольше других. Я с ним познакомился сорок лет тому назад, когда он еще работал в «Литературной газете», а я уже печатался в «Новом мире». Потом в «Новом мире» появился и он, и был там, кажется самым молодым членом редколлегии.

Домами мы в прямом смысле не общались, встречались в общих друзьях, в «Новом мире», и в одной частной квартире, о которой следует упомянуть особо. Квартира эта была, как мне помнится, небольшая, двухкомнатная принадлежавшая при его жизни архитектору Ивану Жолтовскому.

После его смерти заведовала этой квартирой (но не жила в ней) родственница Жолтовского Инна Шкунаева, специалист по французской литературе и философии и друг Игоря Александровича Саца, одного из редакторов «Нового мира».

В эту квартиру иногда приходили члены редколлегии «Нового мира» и некоторые приехавшие к ним авторы. Из последних я помню только себя самого. Приходили, имея при себе запас спиртного, а закуски готовила Инна.

Выпивали, закусывали, говорили о том, о сем, о пустяках, потом переходили к какому-то животрепещущим делам, к тому, что всех волновало.

Помню музыкальную часть. Ее представляли Твардовский и Лакшин. Они пели дуэтом белорусские песни, знакомые каждому, естественно, Твардовский, выросший на Смоленщине, рядом с белорусией. Лакшин, как ни странно, тоже знал эти песни, но он вообще знал много чего. Они пели, и это было красиво. Жаль, не было Тургенева, чтобы записать это пение.

Их было много, этих вечеров. Я не помню были это среды или четверги, или это случайно время от времени.

Володя болел в детстве костным туберкулезом и был наполовину прикован к постели. И как другие дети подобной судьбы (как, например, Вячеслав Иванов, среди своих именумый Комой) был лишен возможности играть в мяч или в футбол. Все эти радости ему заменило чтение книг, почему он и вырос таким умным и образованным. Я всегда поражался широте его знаний, его культуре. В нашем поколении таких людей было немного, а сейчас их, по-моему, вообще нет. Та культура вообще уходит и, может быть, навсегда.

Лакшин принадлежал, как и я, к тому поколению, которых называют или обзывают шестидесятниками. Представители следующих поколений о шестидесятниках говорят так, как будто это была какая-то мерзкая порода людей. Говорят, что шестидесятники не оказали советскому режиму должного сопротивления, не произвели революцию или чего-то вроде этого.

Я не думаю, что бывают поколения плохие или хорошие. Шестидесятники были ничем не лучше и не хуже других. А сопротивление режиму как раз оказали именно они.

Сопротивление это, естественно, принимало разные формы. От литературы, где важное говорилось между строк, до открытой критики, до диссидентства. Я, например, был диссидентом. Но того, кто не был, не осуждаю. Человек мог, не выступая против власти с открытым забралом, держаться твердо определенных нравственных устоев, допускать не какой-то компромисс в поведении, но не заходить за границы, за которыми компромисс превращается во что-то иное.

У меня воспоминания о самом «Новом мире» есть всякие, и хорошие, и не очень. Когда я там появился, меня очень хорошо встретили. Мою первую повесть, можно сказать, приняли «на ура». Первая повесть «Мы здесь живем» была всеми редакторами одобрена и напечатана вне всякой очереди в 1961 году. Написанный в том же году рассказ «Растоптанные в полкилометра» Твардовский так хвалил, что мне неудобно повторять. Но потом было уже не так.

Потом, когда в «Новом мире» наступили или наступили трудные времена, я принес Твардовскому первые главы «Чонкина». Я хотел, чтобы рукопись прошла мимо недоброжелательно относившегося ко мне Кондратовича, и попросил Твардовского лично прочесть. Он прочел, и через некоторое время мне позвонила его секретарь Софья Хананова. Я пришел. Твардовский встретил меня у двери. Мы вместе с ним подошли к его столу, но он не сел и смотрел на меня муром. «Ну, что ж, — сказал он, — постукивая по столу рукой, — что ж мне сказать вам, мой юный друг. Он меня так назвал, потому что никогда не произносил моего имени. И вот почему. Во время той встречи, когда он очень хвалил мой рассказ, он долго говорил мне всякие добрые слова, а потом сам себя прервал и спросил как меня зовут. Я сказал: «Володя». «А по батюшке?» спросил он. Я сказал: «Да ну, не надо мне просто — Володя». Он вдруг нахмурился очень сильно и уже иронически сказал: «А кой вам годик?» А я говорю: «Двадцать девять лет». Он горько усмехнулся и сказал: «Ну что ж, молодость — это недостаток, который быстро проходит».

И вот минуло какое-то время, и мой недостаток уже отчасти прошел, а Твардовский при нашем общении так и не знал, как меня называть. Он всех называл по имени-отчеству. И Лакшина называл, хотя Лакшин был на год моложе меня. А меня не знал, как называть. Без отчества называть не умел, а отчеством не овладел. И потому это насмешливо: «Мой юный друг...» «Ну что ж, мой юный друг, то, что вы написали, это не интересно, не умно и не остроумно. И вообще у вас какие-то тут люди, какие-то ситуации, страдания. И потом герой такой... Ну что это за фамилия — Чонкин? Таких фамилий в литературе было много: Травкин, Бровкин... — он слез паду, улыбаясь, — Теркин». Так я ушел с тем, что я попутно, я не хотел, честно говоря, эту историю рассказывать. Но, может быть, и стоило рассказать, чтобы показать мои собственные отношения с «Новым миром», которые становились чем дальше, тем хуже.

В 1969-м году я был в полной опале, меня никто ничем уже не печатал. «Новый мир» уже тоже дышал на ладан, а я в это время принес свою повесть «Путь взаимной перепишки». Твардовский в это время болел. Ему принесли в больницу эту повесть, когда его все раз-

дражало. И автор тоже раздражал, поскольку был из тех, кто не способствовал выживанию журнала.

И он написал на моей повести, что это не сушеватная халтура и он ее печатать не будет. Я тогда считал и сейчас считаю, что это моя лучшая повесть, поэтому я тогда обиделся на Твардовского и на журнал. А когда журнал уже терпел бедствие, я все еще считал себя его автором. Я понимал, что это единственный на самом деле либеральный демократический журнал, проповедующий ценности, которые нужны были стране, людям и мне лично. И поэтому я в журнал ходил до последнего момента, но уже не как автор, а просто как болельщик, и там пребывал при всяких обстоятельствах. Впрочем, в печальных обстоятельствах бывали комические моменты. Например, такой. Когда журнал уже погубил, Твардовский написал письмо Брежневу. И Брежнев ему позвонил и сказал, что ему сейчас некогда, что он высоко ценит Твардовского, считает его большим, советским, народным поэтом, помнит его с фронтовых времен и скоро ему позвонит еще и позовет к себе. Твардовский срочно вышел из того состояния, в котором он тогда пребывал, то есть из запоя, и стал являться на работу каждый день и сидел в своем кабинете с утра до вечера. Он нажал в середине дня позвонил Виктор Платонович Некрасов, который не любил слишком серьезных людей и сам слишком серьезным никогда не был Твардовский в напряжении. Некрасов открыл дверь и крикнул: «Брежнев звонит!». Твардовский вскочил на ноги, схватился за трубку. Некрасов стал громко хохотать. Твардовский накинусь на него чуть ли не с кулаками. Через некоторое время опять ворвался Некрасов с криком: «Брежнев звонит!». Твардовский опять схватился за трубку. Но на этом нервное ожидание кончилось.

«Новый мир» действительно был журналом либеральным, демократическим, но, конечно же, не свободным. Он существовал в определенных условиях, когда нельзя было сказать всего, но до поры до времени можно было сказать многое. А потом наступил период, когда молчание стало красноречивей слов.

Наиболее сильными разделами в журнале были проза и критика. Ведущим критиком в журнале и продолжателем демократических традиций русской критики был Владимир Лакшин.

Многие люди до сих пор помнят «Новомирскую» статью Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги», его телевизионные передачи об Островском, Чехове, Толстом и других, его полемике с Солженицыным в ходившей тогда по рукам статье «Солженицын, Твардовский и «Новый мир».

Владимир Лакшин проявлял время от времени определенную осмотительность. На рожен не лез. Когда нельзя было говорить о делах, сегодняшних, уходил в прошлое. Но всегда занимался тем, что можно назвать нравственным просветительством.

Ну, конечно, он был человеком осмотительным, компромиссным, но всегда знал ради чего компромисс и до каких пределов.

Некоторые люди утверждают, что они никогда не шли ни на какие компромиссы. Это неправда. Бескомпромиссными бывают только самоубийцы. А в реальной жизни до определенной степени все и всегда в той или иной степени вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам. В свое время Солженицын очень сильно критиковал Лакшина, Твардовского, «Новый мир», всю советскую интеллигенцию («образованщины») за компромиссное поведение. Но компромисс и сам был не чужд. До поры до времени даже с партийным начальством пытался ладить. Вот мне недавно попал на глаза книжка «Кремлевский самосуд». Там я прочел такую запись. Помощник Хрущева Владимир Лебедев 22 марта 1963 года, в разгар партийной травли писателей и художников, в письме Хрущеву сообщает, что ему позвонил Солженицын, который сказал так: «Я глубоко взволнован речью Никиты Сергеевича Хрущева и приношу ему глубокую благодарность за исключительно доброе отношение к нам, писателям, и ко мне лично, за высокую оценку моего скромного труда. Мой звонок объясняется Вам следующим. Никита Сергеевич сказал, что если наша литература и деятели искусства будут увлекаться лагерной тематикой, то это даст материал для наших недругов, и на такие материалы, как на падаль, летят огромные жирные мухи. Пользуясь знакомством с Вами и помня беседу на Воробьевых горах во время встречи наших руководителей с творческой интеллигенцией, я прошу у Вас доброго совета. Только прошу не рассматривать мою просьбу как официальное обращение, а как товарищеский совет коммуниста, которому я доверяю». И так далее. Я привел эту цитату не в осуждение ее автора. Просто по ней видно, в какое время мы вынуждены были существовать и как иногда даже кривить душой, чтобы выжить и когда-нибудь донести до людей главное.

Чем безопаснее жизнь, тем больше бескомпромиссных людей, которые смело говорят, что они бы в тех же условиях жили иначе. На что мне всегда хочется сказать: а вы бы попробовали, а потом говорили.

У меня такое ощущение, что театр «У Никитских ворот» был последним театром, который он, арий театр, посетил в своей жизни. Спектакль, насколько я помню, ему понравился, он говорил очень добрые слова. Но самое интересное произошло во в эти дни, между этим спектаклем и моментом его смерти. Потому что от его друзей я вдруг узнаю, что было заседание в эти дни, последние дни его жизни, Чеховской Комиссии. Лакшин выступил и, наверное, он говорил о многом, но там были и слова по моему адресу, по адресу спектакля «Дядя Ваня» на сцене Театра «У Никитских ворот». И он предложил своим коллегам, чтобы на страницах очередной «Чеховианы» было выступление не только чеховедов, критиков или маститых литературоведов, знатоков творчества Чехова, ученых, мастеров, что ли, своего дела... Давайте пригласим, скажем, Марка Розовского, я видел только что его «Дядю Ваню», и очень интересно было бы узнать, что он по этому поводу думает, очень живой спектакль, замечательно играл актеры (Роль Войничского, кстати, играл Сергей Десницкий.)

И я помню, на дворе были путчи, какие-то страшные дела, а я все писал, заглядывая в текст Антона Павловича по завету Лакшина, выражаясь несколько высокопарно. Я исполнил свой долг перед ним, перед его памятью и пытался сделать эту рукопись.

Эта рукопись, действительно необычная. Я это понимал, когда писал, потому что такого опыта, наверное, ни один из режиссеров не сделал... Не потому, что я хвалюсь, а потому, что испытывая желание посмотреть на нечто подобное, если бы это было. Есть, конечно, запись репетиции и Станиславского, и Мейерхольда и так далее... Но все-таки такого



Владимир Лакшин в ЦДРИ. Фото А. Козина

комментария нет! Я сделал попытку прокомментировать, как я, лично я понимаю и чувствую каждую реплику пьесы, каждую ремарку, от начала до конца. То есть сначала анализируются название, потом абсолютно весь чеховский текст. Когда рукопись была готова, я сделал несколько попыток предложить ее нашим издательствам. К сожалению, попытки оказались неудачными.

«Чтение «Дяди Вани» было издано в Нью-Йорке, в издательстве «Слов», где издавался Бродский и другие хорошие люди. Она проластается только в нашем театре. И если вы придете к нам, то сможете познакомиться с этой книгой, которую я имел смелость посвятить памяти Владимира Яковлевича Лакшина. Было много разных встреч. Я прекрасно помню его изумительную артистическую личность. Романы в клубе «При свечах» в старом ВТО... Голос его, совпадающий с голосом Булгакова, который никогда не был нами слышан. В нем погиб великий мастер общения, причем — с массами людей, не только литературной элитой. Он был так убедителен, он был так, сложен и прост, так глубоко в этом общении! Он завораживал.

Слава Богу, что сохранились его телераздачи. Но это малая крупица того, что он мог бы сделать для нашего народа, для его культуры. Сегодня горестно переживается физическое отсутствие Владимира Лакшина, но столь же мощно становится осязаемым его духовное присутствие — в нашем каждодневном творческом изыскании. Он как бы посматривает на нас со своей высоты контролирующей наши «трактовки» и «концепции» не столько на твердоломенную «верность Автору», сколько на нашу ответственную способность творить свой театальный фантазм, адекватный ав-

торскому мирознанию. Нашим измерением он ставит логарифмическую линейку, требуя от нас знания высшей математики. Искусства, в котором жизненное и божественное переплетены. Лакшин требует от нас служения Высшему, но неукоснительно следит за тем, чтобы любая поэтика и любая правда взаимозеркалились с реальной жизнью. Может быть, это и есть истинный патриотизм — быть за происходящее вырастает из понимания фундаментальных образов и идеологий, характерных для России.

Как жаль, что в треугольнике Твардовский — Солженицын — Лакшин двое из трех обостренных ушли в небытие. Впрочем, и теленок, бодавшийся с дубом, сегодня сделался почти недосыаем — иначе чем объяснить его неучастие в «Лакшинских чтениях»? Мы, по-прежнему, простые читатели России, и мы заинтересованы в единстве честности и правды перед лицом разрушительных сил. Нам хотелось бы позвать великого Александра Исаевича к высокому духовному примирению с Лакшиным — на дворе треть тысячелетия и нам, как никогда, нужны тот и другой — вместе!

Потеря Лакшина нарушает гармонию перекрестных движений в культуре — вроде бы был литератор, а боль от его потери ударила и по театру. Эта боль наша ошутима и по сей день, потому что осталось пустое место. Действительно, как говорят, невосполнима утрата.

Но это вовсе не значит, что нам не нужны астрономы. Лакшин был великим астрономом, потому что он знал положение звезд. И он давал им имена. И он понимал и объяснял законы Вселенной, именуемой Культурой. И поэтому он так нам нужен. Я и видел всегда не только рядом с Белинским, Писаревым, Добролюбовым, Эйхенбаумом, Чуковским, можно назвать еще много великих имен, работавших в этом жанре. Но как-то ведь ошутима была эта потрясающая троица: Владимир Лакшин, Натан Эйдельман и Александр Свободин. Нет этих троих — и стало пусто. А пустоту пустотой не заполнишь. Пустоту можно заполнить только великим духом и великой культурой.

Он был критиком и театроведом удивительно занимательным, это занимательное литературоведение! Читая Лакшина — не оторвешься. Это всегда очень живая ткань жизни и литературы, сплетение. И это живой академизм. Это знание. Это та культура, которая уходит из наших залов, с наших сцен, из наших дел. Потому что можно вложить в кого-то, раскрутить, черт возьми, но все это будет псевдожизнь, искусство без искусства. Вот всему этому противостоял дух Лакшина, дух культуры, чувство языка, чувство стиля, чувство писателя. И чувство своего народа.

И, конечно, он был не только знаком культуры нашей в жизни. Но и знаком свободы, гражданской свободы. Свобода и культура — это Лакшин.

Наталья Иванова

НЕ БЫЛО ТАКОГО ДИССИДЕНТА, КОТОРЫЙ НЕ ЧИТАЛ БЫ ЛАКШИНА

Владимир Яковлевич Лакшин был литературоведом, доктором наук, писателем, знатоком Чехова и Островского, телеведущим, автором документальных фильмов, но прежде всего критиком — на вопрос, кто он, ответит одним из слов будет вернее всего. Но он был из тех критиков, из тех «астрономов», которые не только исследуют расположение и движение звезд, но и активно влияют на это расположение. Из тех, кто перестраивает звездную карту литературы. Да он и сам был звездой — по темпераменту и дару. Так уж получилось, что я сейчас занимаю ту должность, которую занимал в течение нескольких лет Лакшин. Место же его не занято никем: Лакшин как организатор литературного процесса и критик (одновременно) был неподражаем, артистичен во всем, включая руководство журналом. Свидетельств тому — мемуарных — множество, прибавлю самое свежее: лица тех сотрудников «Знамени», которые проводили меня на этот вечер. При этом Лакшин, по-моему, никогда не задумывался о том, что тот, кто потратит этот артистизм на одного отдельно взятого собеседника, автора или сотрудника.

Обаяние личности было ровным и постоянным — в журнале, на прогулке, в телевизионном выступлении и фильме, на концерте, при записи, дома и в гостях. Он тратил, транслировал свою художественную энергию — и тут же восстанавливал ее при поддержке внимательной и благодарной аудитории, состоящей даже, скажем, из двух-трех человек. Помню, как Лакшин с Макашниковым пели весь вечер уральские песни — просто друг для друга, друг с другом. Помню всегда изборожденное слово — при общих прогулках в Дублтах, после музыкального концерта в Дзиртати, просто за столом, за общим разговором.

Люди журнальной культуры, к которым безусловно относился и Владимир Яковлевич Лакшин, занимали особое место в нашей литературной жизни. Лакшин стал автором «Нового мира» в апреле 1954 года, и начиная с этого времени, а особенно, конечно, с того времени, когда он стал сотрудником журнала (за всю жизнь он и был преимущественно связан с толстыми журналами — «Новым миром», «Знаменем» и «Иностранной литературой»), интересы издания всегда оставались для него наиважнейшими: ради них, ради защиты линии журнала, ради защиты того, что в нем напечатано, он и работал. Благодаря выступлениям Лакшина, читанным в журнале, благодаря выступлениям «новомирской» критики и в целом формировалось сознание этого и последующих поколений. Читая «Новый мир» с 12-13 лет — я прекрасно помню чувство пугающей радости, сопровождавшее потопление литературно-критическом разделе. Конечно же, «Новый мир» был своего рода манифестом партии «новомирской» России — а партия такая была, и очень достойная и настоящая. И сегодня, даже осуществляя ревизию «новомирства» и его критики, нельзя недооценивать ее выдающуюся, огромную, единственную в своем роде историческую роль в разблокировании сознания читающего сообщества.

У выступлений Лакшина было три адресата: большой читатель (ибо Владимир Яковлевич был просветителем по убеждению), читатель — литератор, «творческий интеллигент», а еще — в широком и узком смысле слова — власть. В статьях и рецензиях Лакшина можно выделить три языка, три слоя, на которых они написаны. Сама внутренняя направленность статей его расширяет область воздействия, смелость, отпасть великого Лакшина миллион лет назад, вместе с Лакшиным как деятелем журнала и критиком, увеличивал пространство свободы.

Ныне его упрекают в том, что ради тактических соображений он подчас жертвовал точностью поражения цели. Упрек, может быть, и верный, но кому надлежит упрекать? Да, Лакшин не был диссидентом. Но не было такого диссидента, который не читал бы Лакшина.

Человек журнальной культуры, он ставил интересы «Нового мира» (а он понимал журнал как *вопрос общества*, всего общества, а не орган, принадлежащий редколлегии) выше интересов своих собственных и интересов отдаленного автора, каким бы смелым и одаренным тот не был. Лакшин дорожил журналом — как неизменной связью всех, кого можно было назвать *партией «Нового мира»*. Поэтому: 1) он был способен наступить на горло своему собственному тексту — в целях сохранения и защиты издания; 2) он не мог простить даже Александру Исаевичу Солженицыну несправедливого, как посчитал Лакшин повествования об обстоятельствах журнальной деятельности и лично об Александре Твардовском.

В поздние годы — в статьях, опубликованных незадолго до кончины, Лакшин выступил как человек настоящей газетной культуры, поскольку это была уже и не полемика только, но своего рода манифест. Не буду обсуждать его оценок, пристрастий, убеждений или заблуждений — при всех них Лакшин безусловно остается настоящим деятелем в истории русской литературы XX века, в истории освободительной мысли России.